



Августин
Вольнов

**БАГРЯНЫЕ
ДОЖДИ**

Августин
Вольнов

**БАГРЯНЫЕ
ДОЖДИ**

Р а с с к а з ы

С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ
М о с к в а · 1962

В рассказах А. Вольнова читатель найдет красочное изображение природы и жизни охотников. Автор книги — страстный охотник, он знает повадки всех лесных обитателей, ярко передает напряженный драматизм охоты. Герои книги — не просто истребители дичи, это охотники-художники, охотники-гуманисты, которые любят природу и остро чувствуют ее. Среди них выделяется колоритная фигура простого колхозника Тимофея, простодушного, честного и искренне любящего лес. Книга приоткрывает нам увлекательные стороны жизни, живо и просто рассказывает о них.

Летят года станицей журавлиной,
Уже морозом тронуло виски,
Неотделимы зрелость и седины,
А осени раздумья близки.

[illegible]



НАСТОЯЩЕЕ ОХОТНИЧЬЕ СЕРДЦЕ

— **В**от всё болтают, дескать, сохатый страшнее медведя бывает. Пословицу небось слышал? «На медведя идешь — постель стели, на сохатого — гроб колоти». А я, слышь, сколь годов охочусь, не примечал этого. Вот раз только, и то осенью, когда у них гон... А то нимало страшного нет, очень даже просто стукнуть его. Поэтому и запретили ~~их бить, чтобы~~ истребить вовсе...

Мой напарник умолк. Вокруг лежат заснеженные поля, вдали смутно белеет заиндевевшая роща. Ровные стежки лисьих следов выбегают из леса, пересекаются и пропадают на краю поля, в овраге. Русачьи тропки-малики и покопки испещрили засыпанную снегом озимь; четкие бисеринки мышиных следов словно сеткой покрыли белое пространство.

Солнце уже низко. Снег не слепит глаза, он как-то мягок, а вокруг все полно сияньем и игрой огней. Ветви дубков у дороги, опушенные инеем, от косых лучей солнца вспыхнули лучистыми звездочками, заискрились...

Моего спутника зовут Тимофеем Лапиным. Он еще не старый, широкоплечий, приземистый и всегда немножко суетливый. Мы с ним с самого рассвета бродили по озимям, оврагам и кустарникам в поисках русаков. Тропить в морозную погоду их нелегко. Снег громко скрипит под ногами, и как бы заяц крепко ни лежал, он все-таки поднимется с лежки метров за сотню, потревоженный визгом лыж.

К середине дня с грехом пополам заполевали одного русака, крепко устали и перемерзли. Решили развести костер в дубовой рощице, обогреться и отдохнуть.

Когда поели и напились чаю, Тимофей прилег на сухие ветки и набил табаком свою почерневшую от времени трубку с

обглоданным чубуком. Видя, как старательно разжигает он курилку, а потом удобнее устраивается у огня, я понял, что второго зайца нам сегодня не видать.

— Хоть и правильно, что запретили охоту на лося, а до смерти жалко. Расплодилось их за последние годы порядком, даже лесному хозяйству стали вредить. Вон в тем осиннике, что за Тёшей, — он показал трубкой в сторону реки, — уйма их бродит. Летом к стадам прибиваются, интересуются, значит, как общество коровье живет. Да у нас их так и зовут лесными коровами...

Тимофей поковырял прутиком в трубке и затянулся. Его смугловатые, покрытые редкой щетиной щеки покраснелись от огня.

Рассказывать он мастер. На грубоватом, с толстым красным носом лице — ни малейшего намека на улыбку, только карие глаза плутовато поблескивают. Большие руки с грязными узловатыми пальцами постоянно в ходу: то трубку почистят, то ветку в костер подбросят, то поправят стреляющую угольками головешку...

— Намедни иду в тем осиннике, думаю, может тетеревов подниму. Вдруг слышу, впереди меня сучья трещат. Выбегаю на поляну... Батюшки мои! Стоит здоровенный лосяще и осинки обгладывает. Рога — во! Метра полтора в обе стороны. Я ижно

присел. Руки затряслись, стрельнуть хочется, а боязно — штраф-то не шутейный. Ну, думаю, хоть в небо садану, попугаю. Так распалило, что и себя не помню. Взвел курки, да, видать, не остерегся, щелкнул. Ка-ак вскинется бычище — да в самую чашу! Увидел, знать, меня. Но так он повернулся, что закрутился хвостом за осину и ревет, бедолага, с места не может сдвинуться. Тут я дуплетом вверх как бацну! Лось рванулся, взбрыкнул ногами, хвост лопнул, как веревка...

— Постой, постой, Тимофей! — перебил я его. — Что ты плетешь? У лося хвост короткий, как у зайца, как же он мог закрутиться?

— Мотри, мотри, беляк! Ах, собачий сын! Рядышком сидел!

Тимофей вскочил с места, заорал, зашвистел, размахивая руками. Я тоже встал. Но, как ни всматривался, беляка не заметил. Я с удивленьем посмотрел на Тимофея, но тот улегся на ветки и как ни в чем не бывало принялся ворошить головешки.

Вечереет. Пламя костра становится ярче, роща вдали совсем исчезает в сумерках. А идти домой не хочется. Тимофей снова набивает табаком трубку, заскоруждым пальцем уминает махорку и задумчиво смотрит в огонь.

— Да-а-а... Немало случаев со мной приключалось, — опять заговорил он. — Ты

знаешь, Лександрыч, Сомова Никитку? Ну, такой громадный парняга, метра два вышиной. Ладони — во, ну прямо эскаваторные ковши, что ухватит — трактором не вырвешь. Богатырь, одним словом...

Я отрицательно мотнул головой.

— Да знаешь, что ты! Никитушкой Ломовым у нас его дразнят. На конеферме работает. Так вот... Раз мы с ним пошли за тетеревами. В начале октября дело было. Молодые петушки давно слиняли, взматерели, и не отличишь от старых, уж в стада сбиваются. С собакой, слышь, к ним в это время не подойдешь, не держат стойку. Решили на чучела попробовать. Изготовили из тряпья да опилок чучёлки — неказистые вышли, да плевать. Тетерев хоть и сторожкая птица, а глупая. Ей на ветку хотя сапог надень, все равно подсядет. Ну, пошли в Кирюхин лес, там по осиннику березы большие растут, черныши на них любят почки клевать.

А пробираться местами трудными довелось. Осинник частый, болотины попадаются, ручьи топкие. Идем это мы вдоль ручья, к лосиному броду подошли. Сюда звери на водопой ходят. Глядь, а на примятой траве кровь. Сначала густо так краснеет, ровно кто клюкву рассыпал, а чем дальше, все меньше ее заметно. А надо тебе сказать, что перед этим мы выстрелы слышали. Пальнули из одностволки, как

я догадался, потому второй выстрел с перерывом прогремел. Да и звук у одностволки другой.

Мы еще подумали, кто-нeто по тетеревам бьет, позавидовали. А только когда кровь у водопоя увидели, следы раздвоенного копыта и вмятины от сапог пряниками да елочками, стали догадываться.

«Никита, говорю, пошли, слышь, по следам, где-нeто либо лось ранетый лежит, либо браконьера застукаем...»

И пошли мы. Но, как на грех, крови стало меньше видно, следы от копыт в основую подмель потянулись, а потом в моховое болото, и пропали. Не крепко, знать, лось ранетый был... Покружились мы вокруг болотца и следы от сапог потеряли. Решили зайти на кордон к леснику Ивану Васильевичу, он отсюда в версте проживает. Надо, думаем, предупредить, пусть походит, поищет, не пропадать же добру...

Лесника не было. Сказали Наталье, жене его, чтоб передала, а сами за тетеревами в рощу пошли. Вот тут-то она, история-то эта, с нами и вышла...

Тимофей, как опытный рассказчик, знал, когда замолчать. Он опять принялся за трубку, а сам нет-нет да и посмотрит на меня. Я покорно ждал, привыкший к его манере испытывать слушателя.

— Да-а, — протянул Тимофей, — вышли мы на опушку и замерли. Над обрывом

к ручью, промеж двух громадных берез, стоит ложище. И такой красавец-богатырь, что и не выскажешь. Морда горбатая, вытянулась вперед, приплюсывается, ижно ноздри дрожат. А на голове будто царская корона, а не рога. Красота! Стоит, тянется весь за ручей — знать, перепрыгнуть охота, а чтой-то не прыгает. И заметили мы тут, что передняя нога у него как-то неладно подогнулась, а на лопатке кровь запеклась.

Окаменел я, как этот самый статуй, и глаза не могу отвести. А Сомов-озорник ровно дурной какой, а не охотник. Красоты зверя не понимает, когда он на воле. Это тебе не в клетке замухрышка замученный. Не-ет! На воле зверь гордый, самостоятельный. Зайца возьми, уж на что его трусом ославили, а поди-ка увидь его на воле — сколь чванства в нем, сколь высоко о себе понимает! А уж о сохатом и говорить нечего.

И надо было нам полюбоваться тихохонько, ан нет, созорничал Никитка. Ка-ак рывкнет во всю глотку, ка-ак заорет! Надумал такого богатыря напугать. Да не тут-то было. В тот раз понял я, что к осеннему лосю, да еще к быку, да к ранетому, лучше не подходи.

Взревел бычище — да на нас. Мы от него ровно брызги! Сомов в кусты нырнул, а я в горячке-то, хоть и не робкого десятка,

сам знаешь, а все ж струхнул порядком. Дунул в рощу, за березу хотел укрыться. Да малость промашку и дал. Лось с большой ногой в кусты не полез, а на меня бросился. Я от него, а он на меня. Рога наставил, а мне и деваться некуда: сбоку обрыв, с другого — болотина топкая, сзади — береза здоровенная, а спереди — сохатый.

Слышь, бога вспомнить не успел, как он меня башкой к березе прижал. И что ты думаешь, видно, судьбина моя такая — не на охоте помереть. Известно, кому суждено вином опиться, того ни пуля, ни вода, ни лосиные рога не возьмут. На фронте уцелел, и тут повезло. Так ловко рога сохатого в березу уперлись, что я очутился между ними, схватился за отростки и повис. Боюсь пошевелиться, смерти жду. Сейчас, мол, он меня сбросит да и раздавит, как комара.

Я хотя и струсил, а все ж про Сомова не забыл.

«Никитушка! — кричу. — Выручай, паря!»

Он мне из кустов:

«Чай, пырнет, как подойтись-то?»

«Че-ерт! — опять ору. — Никитушка ты Ломов, чтоб тебя на том свете дьявол жарил! Да стрельни, что ль!»

А он опять:

«Да, стрельни, а штраф-то кто платить будет?»

И еще советует, слышь: отпусти рога-то да нырни под сохатого. А как тут нырнуть, когда и руки отцепить боюсь...

Покрыл я Никитку ласковым словом, подействовало-таки. Вышел он из кустов, ружье положил, ремень с брюк стащил и крадется, боится, как бы лось от меня да на него не повернул.

И счастье наше, что лось попался ранетый и обессилел, знать. Шатается, чувствую, головой совсем слабо прижимает меня, глаза хоть кровью и налились, а вовсе не свирепые, как-то даже жалобно смотрят. Подпустил он Сомова, на ранетую ногу наступил было, да охнул, как человек ровно...

А Сомов-то, балбес, вместо того чтобы пожалеть, как хлестнет его по ноздрям ремнем. Тут лось и упал на коленки, потом набок свалился. Подмял меня головой, да уж не больно чтоб тяжело.

Выкарабкался я, утер пот рукавом, а Никитка, окаянный, еще насмехается:

«Ух, Тимошка, и здорово же ты его за рога поймал! Чай, держать устал, все отпустить боялся, а?»

Ну, я только плюнул с досады и зарекся ходить с ним в лес. С таким дружком, думаю, и живота на охоте лишиться недолго. И вот, понимаешь ты, зря так о человеке подумал, занапрасно его обидел. Он, видно, понял, что я на него рассердился.

«Извини, говорит, Тимофей Иваныч, пошутил я...»

«Ладно, говорю, не обижаюсь...»

По нраву мне пришлось его извинение, вижу — человек уважение ко мне имеет, и я, стало быть, должен ему привет со своей стороны оказать.

«Иди, говорю, скорей на кордон да с лошастью вертайся. Отвезем лося в село, может ветеринар вылечит. А я тут посижу, покараулю. Не ровен час, добьют сохатого...»

Ну, Никитка за деревьями скрылся, а я сижу на пеньке и покуриваю. От лося подальше в кусты подался: ну как очнется да на меня бросится? Всякое бывает...

Сижу, курю, гляжу на сохатого, а он на меня одним глазом. Бока у него ровно мехи у гармошки ходят. Тяжело, стало быть, бедняге.

Только вижу — лосиные уши зашевелились туды-сюды, он голову поднял и зафыркал. Силится подняться, а никак. «Что такое?» — думаю. А потом и сам услышал. Сучки затрещали, и по воде кто-то чавкает...

Глядь, вылезает из кустов человек с ружьем. На нем ватник, на ногах — сапоги резиновые до пояса, я таких отродясь не видал, к ремню пристегнуты. А на голове — фуражка с лаковым козырьком. Знакомая, гляжу, фуражка... Э-э-э, да это

же Пашка Голкин, шофер из колхоза! А глаза-то, глаза-то как вытаращил, когда лося увидел! И одностоволку моментом к плечу...

«Стой! — заорал я. — Брось ружье, а то заряд в башку!»

Пашка аж присел и ружье над головой поднял, ровно в плен сдается. А сам зыркает глазами, куда бы сигануть. Потом увидел меня и ощерился.

«А-а, это ты, Тимошка, — говорит. — Что ж, твоя добыча, я ничего...»

Выпрямился, пот со лба ладонью утер, фуражку поправил.

«Ловко, говорит, ты сохатого завалил, пудов двадцать верняком будет. Я никому не скажу, поделишься, а?»

У меня, понимаешь, Лександрыч, и сердце захолонуло. «Вот те на! — думаю. — Это он на меня хочет свалить? А вдруг и на селе так же ляпнет?» Ну, мне-то бояться нечего, у меня Никитка Сомов свидетель есть... Эх, а если Пашка скажет, что это мы вместе с Сомовым лося завалили? Докажи тогда, что это не мы!

«Подлец ты, говорю, что на меня думаешь! Да у меня и стволы-то чистые, погляди, если не веришь!»

А он знай себе ухмыляется, выпучил зенки и говорит:

«Не поделишься, в Совет заявлю...»

Ну что тут будешь делать? Зову его стволы посмотреть, он ко мне пошел. Чав-чав по сырой земле. А земля-то мягкая, все отпечатывается... Гляжу я, и от радости...

«Давай-ка, говорю, Пашенька, присаживайся, закури моего самосаду, чего так-то стоять, может и договоримся. Односельчане мы...»

Присел он на другой пенек, ружье между колен поставил и стал сигарку свертывать.

«Сапожки у тебя славные, — говорю ему, — не промокают, чай, нипочем. И подметки приметные, с елочкой, а каблуки ровно пряники печатают... Где это ты их раздобыл?»

Пашка усмехнулся, повертел ногой на каблуке.

«Да уж, сапожки стоящие, — говорит. — Таких в районе поискать. Мне их, на торфу когда работал, выдали. Сберег я их для охоты...»

«Поискать в районе, говоришь? — сказал я и посмотрел ему прямо в глаза. А он их отводит и все по деревьям да по кустам шарит. — А вроде у кого-то еще есть. Я нынче у водопоя такие же следы видел. В акурате, как у тебя, елочки да прянички отпечатываются...»

Пашка сигарку бросил, набычился на меня.